

*Карл Шмитт* \*

## Духовно-историческое состояние современного парламентаризма.

### Предварительные замечания

#### (О противоположности парламентаризма и демократии)

**Аннотация.** Отвечая критикам, Шмитт вычленяет основные характеристики парламентаризма как духовного и политического явления, показывает его исторически обусловленный характер и высказывает предположение о том, что он исчерпал себя, если и не в реальности политической жизни, то, во всяком случае, в принципе. Либеральный, основанный на индивидуализме парламентаризм не тождествен демократии, а демократия предполагает гомогенность народа, основания и способы реализации которой очень различны.

**Ключевые слова.** Парламентаризм, либерализм, демократия, Шмитт, Руссо, Монтескье, народ, партия, власть, фашизм, большевизм, диктатура.

Второе издание этой работы о духовно-историческом состоянии современного парламентаризма не претерпело существенных изменений. Мы отнюдь не хотим тем самым поставить ее выше любых дискуссий. Есть основания опасаться, скорее, прямо противоположного. Ведь строго научное рассмотрение, не становящееся на службу партийной политике и не оказывающее никому пропагандистских услуг, в наши дни, пожалуй, будет казаться большинству непрактичным, далеким от жизни (*weltfremd*) и анахроничным. Итак, следует опасаться, что содержательное обсуждение политических понятий мало кого заинтересует, а намерение обсуждать их именно таким образом вряд ли найдет понимание. Возможно, эпоха дискуссий вообще подходит к концу. Первое издание данной работы, вышедшее летом 1923 г., было, в общем, принято так, что пессимистические предположения этого рода подтверждаются, кажется, и в случае столь неприятном. Тем не менее, было бы несправедливо пренебречь отдельными примерами содержательной критики. Подробного ответа в особенности заслуживает детальная и богатая идеями рецензия столь выдающегося юриста, как Рихард Тома (см.: *Archiv für Sozialwissenschaften*, 1925, Bd. 53, S. 212 ff).

Я предпочитаю не касаться предположений Тома о тех в высшей степени фантастических политических целях, которые он приписывает мне в конце рецензии. Но если его содержательные возражения освободить от политических комбинаций, то они сводятся к тому, что я, по его мнению, обнаруживаю духовные основы парламентаризма в совершенно устаревших идеях дискуссии и публичности, составляющих сущностный принцип парламента. Представления такого рода, говорит он, имели решающую силу несколько поколений назад, но теперь (и уже давно) парламента базируется на совершенно иных основаниях. Правда, я тоже опасаясь, что вера в дискуссии и публичность кажется в наши дни чем-то устаревшим. Но тогда следует лишь задаться вопросом, какого же рода новые аргументы и убеждения дают парламента новую духовную основу? Конечно, в ходе развития у людей меняются как институты, так и те идеи, которых люди придерживаются. Однако если принципы дискуссии и публичности полностью утратят силу, я не вижу, что могло бы тогда составить новую основу парламентаризма и почему истина и подлинность парламента были бы тогда все еще очевидны. Подобно всякому великому институту

---

\* Перевод сделан по изданию: Carl Schmitt. *Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus*. 6. Aufl., unveränd. Nachdr. d. 1926 erschienenen 2. Aufl. – Berlin: Duncker und Humblot, 1985. S. 5-23.

© Филиппов А., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

парламент предполагает наличие неких особых, своеобразных идей, и кто захочет узнать их, будет вынужден вновь обратиться к Берку, Бентаму, Гизо и Дж. С. Миллю. И тогда придется признать, что после них (то есть, примерно, после 1848 г.) было высказано немало практических соображений, но не появилось никаких новых принципиальных аргументов. Правда, в прошлом столетии на это почти не обращали внимания, потому что между парламентаризмом и демократией не проводили ясного различия и парламентаризм продвигался вперед в тесной связи с наступающей демократией<sup>1</sup>. Но в наши дни, когда они победили, их противоположность становится очевидной, и различие между идеями либерального парламентаризма и массовой демократии больше нельзя не замечать. Так что придется все-таки заниматься этими, как выражается Тома, «заплесневевшими» явлениями, потому что лишь исследование присущих им ходов мысли позволит выяснить специфику парламентаризма и только здесь парламент получает характер своеобразно фундированного института, способного сохранить духовное превосходство как в виду последствий непосредственной демократии, так и над большевизмом и фашизмом. Что в наши дни парламентское предприятие есть меньшее зло, что оно все еще лучше большевизма и диктатуры, что устранение его повлекло бы непредсказуемые последствия, что «социально-технически» оно является весьма практичной вещью, – все это интересные и отчасти также верные соображения. Но все это – не духовные основы особого рода института. Парламентаризм сегодня существует как метод правления и политическая система. Как все, что существует и сносно функционирует, он полезен, хотя не более того и не менее. Немало доводов можно привести в пользу того, что так, как сегодня, – все равно лучше, чем с иными, еще не испробованными методами, и что тот минимум порядка, который сегодня все-таки реально есть, мог бы быть поставлен под угрозу легкомысленными экспериментами. Важность рассуждений такого рода, безусловно, должен признать всякий разумный человек. Но эти рассуждения не затрагивают того, что составляет принципиальный интерес. Ведь, пожалуй, никто не будет настолько неприятелен, чтобы считать, будто, сказав «а как иначе?», можно исчерпать вопрос о духовной основе или моральной истине. Все специфически парламентские установления и нормы обретают смысл лишь благодаря дискуссии и публичности. Это, в частности, относится к принципу, согласно которому депутат не зависит от своих избирателей и своей партии: официально, в соответствии с Конституцией этот принцип еще признают, но практически едва ли в него еще верят; то же самое относится и к предписаниям касательно свободы слова и депутатских иммунитетов, публичности парламентских слушаний и т.д. Если в публичную дискуссию как принцип уже не верят, все эти установления теряют смысл. Дело ведь обстоит отнюдь не так, словно институту можно было бы дополнительно подсунуть любые принципы и, когда прежняя основа исчезнет, встроить [на ее место] какие-то дополнительные аргументы. Пожалуй, один и тот же институт может служить различным практическим целям и потому может быть по-разному практически оправдан. Есть «гетерогония целей», практические точки зрения меняются, становясь более или менее важными, изменяются и функции практических средств, но «гетерогонии принципов» не бывает. Например, согласимся с Монтескье, что принципом монархии является «честь». Тогда этот принцип уже не удастся подсунуть демократической республике, подобно тому, как принцип публичной дискуссии не удастся положить в основу монархии. Кажется, правда, что [в наши дни] чувство своеобразности принципов исчезает, так что возможности подсунуть [один принцип на место другого] просто безграничны. Вот это и составляет суть всех возражений, которые Тома выдвигает против моего сочинения в своей цитированной выше рецензии. Однако он, к сожалению, так и не открыл нам, каковы же, собственно, те новые (якобы столь

---

<sup>1</sup> Типичный пример – дефиниция парламентаризма, данная в книге сенатора профессора Гаэтано Моска (*Mosca G. Teorica dei Governi e Governo Parlamentare*, 2. Aufl., Mailand 1925 (1-е изд. 1883 г.), S. 147). Он понимаем под парламентаризмом такое правление, при котором политический перевес в государстве получают элементы, прямо или косвенно связанные с народным выбором. Та же путаница содержится у него в излюбленном отождествлении представительного устройства и парламентаризма.

многочисленные) принципы парламентаризма. Он довольствуется тем, что в кратком примечании скупо упоминает «лишь работы и речи Макса Вебера, Гуго Прейса и Фридриха Наумана, относящиеся к 1917 и последующим годам». Что же означал парламентаризм для этих немецких либералов и демократов, боровшихся против кайзеровской системы правления? По сути своей (и в лучшем случае) – средство политического отбора вождей, надежный способ устранения политического дилетантизма и достижения наилучшими и самыми усердными положения политическими вождей. Но способен ли парламент на самом деле образовать политическую элиту, весьма сомнительно. В наши дни, как нам кажется, на этот инструмент отбора уже не возлагают столько надежд, многим они представляются устаревшими, и слово «иллюзии», которое Тома использует, говоря о Гизо, легко можно было бы обратить против тех же самых немецких демократов. Политическая элита, которую в виде сотен министров непрерывно производят многочисленные парламенты разных государств, как в Европе, так и вне Европы, не может служить оправданием для большого оптимизма. Но дело обстоит еще хуже, и это не оставляет почти ничего от подобных надежд: во многих государствах парламентаризм уже довел до того, что все публичные дела превращаются в объект наживы и компромисса между партиями и их отрядами (Gefolgschaften), а политика оказывается отнюдь не делом элиты, но весьма презренным гешефтом весьма презренного класса людей.

Однако для принципиального рассмотрения это не имеет решающего значения. Кто верит, что парламентаризм гарантирует наилучший отбор политических вождей, тот, конечно, лелеет это убеждение сегодня уже не в форме идеальной веры, но практически-технической гипотезы, сконструированной по английским образцам и подлежащей опробованию на континенте: если она не подтвердится, будет разумно тут же от нее отказаться. Это убеждение тоже может соединиться с верой в дискуссию и публичность, а тогда и оно будет принадлежать к принципиальной аргументации парламентаризма. Во всяком случае, парламент «истинен» лишь до тех пор, пока принимают всерьез и [действительно] ведут публичную дискуссию. «Дискуссия» же имеет здесь особый смысл и означает не просто переговоры. Тот, кто все возможные виды договоров и достижения соглашений называет парламентаризмом, а все остальное – диктатурой или насильственным господством (а именно так поступают М. Ю. Бонн в книге «Кризис европейской демократии» и Р. Тома в цитированной выше рецензии), тот не затрагивает существа вопроса. Переговоры ведутся на каждом дипломатическом конгрессе (Gesandtenkongress), на каждом собрании делегатов, на каждом заседании директоров, подобно тому, как ранее переговоры велись между кабинетами абсолютных монархов, сословными организациями, христианами и турками. Отсюда еще не возникает современный парламент как институт. Нельзя разрушать связи понятий и оставлять вне поля зрения специфику дискуссии. Дискуссия означает обмен мнениями, главная цель которого состоит в том, чтобы рациональными аргументами убедить противника в некоторой истине и правильности, либо же дать убедить в истине и правильности себя самого. Гентц – здесь он следует либералу Берку – дает точную формулировку: для всякой системы представительного правления (Repräsentativverfassungen) (он имеет в виду современный парламент в отличие от сословных представительств) характерно то, что законы являются результатом борьбы мнений (а не борьбы интересов). Непременными предпосылками дискуссии являются общие убеждения, готовность дать себя убедить, независимость от партийных обязательств, свобода от эгоистических интересов. В наши дни большинство вряд ли сочтет возможной такую незаинтересованность. Но и этот скепсис – тоже составляющая кризиса парламентаризма. Только что упомянутые, все еще имеющие силу определения парламентских конституций позволяют ясно видеть, что все по-настоящему парламентские установления предполагают это особое понятие дискуссии. Так, например, повсюду встречается положение о том, что всякий депутат – представитель не одной партии, а всего народа, и не связан никакими рекомендациями (Веймарская Конституция вобрала в себя это положение в статье 21), типичные, вновь артикулируемые гарантии свободы слова и предписания касательно

публичности прений имеют смысл лишь при правильном понимании дискуссии. Напротив, переговоры, при которых речь идет не о том, чтобы найти рациональную правильность, но о том, чтобы скалькулировать интересы и шансы на выигрыш и добиться своего, реализовать по возможности свой собственный интерес, тоже, конечно, сопровождаются разными речами и разъяснениями, только это не является в точном смысле слова дискуссией. Два торговца, объединяющиеся после конкурентной борьбы, говорят об экономических возможностях обеих сторон, каждый, конечно, ищет своей выгоды, и так они приходят к деловому компромиссу. Публичность здесь столь же неуместна, сколь разумна она при настоящей дискуссии. Переговоры и компромиссы, как сказано, всегда встречались в мировой истории. Люди знают, что по большей части договор предпочтительнее спора, а худой мир лучше доброй ссоры. Это, конечно, правильно, но не это является принципом особого рода формы государства или правления.

Положение парламентаризма в наши дни столь критично, потому что развитие современной массовой демократии сделало публичную дискуссию с использованием аргументов пустой формальностью. Поэтому многие нормы современного парламентского права, прежде всего, предписания относительно независимости депутатов и публичности заседаний выглядят как избыточные декорации, ненужные и даже сомнительные, как если бы кто-то разрисовал батарею современного центрального отопления красными языками пламени, чтобы создать иллюзию живого огня. Партии (которых, в соответствии с текстом письменной Конституции\* вообще не существует) в наши дни больше не противостоят друг другу как мнения в дискуссии, они выступают как социальные или хозяйственные силовые группы (*Machtgruppen*), калькулируют взаимные интересы и силовые возможности (*Machtmöglichkeiten*) обеих сторон и на этой фактической основе заключают компромиссы и коалиции. Массы завоевываются аппаратом пропаганды, наиболее эффективным при апелляции к самым насущным интересам и страстям. Исчезает аргумент в прямом смысле слова, характерный для подлинной дискуссии. Место его в переговорах партий занимает целенаправленная калькуляция интересов и силовых шансов (*Machtchancen*), а в обращении с массами – действенное внушение или символ<sup>2</sup> (как говорит американец Уолтер Липман в очень умной, хотя и чрезмерно отдающей дань психологии книге «Общественное мнение»). Литература по психологии, технике и критике общественного мнения сегодня весьма обширна<sup>3</sup>. Видимо поэтому можно считать обычным, что сегодня речь уже идет не о том, чтобы убедить противника в правильности или истине, но о том, чтобы завоевать большинство и господствовать благодаря большинству. То, что Кавур называл огромным отличием абсолютной монархии от конституционного режима, а именно, что абсолютистский министр повелевает, конституционный же убеждает тех, кто должен ему повиноваться, в наши дни, видимо, потеряло смысл. Кавур внятно говорит: я (как конституционный министр) убеждаю в своей **правоте**, и только в этой связи он произносит

---

\* Речь идет о Веймарской конституции Германии (Конституция Германской империи от 11 сентября 1919 г.). В Конституции не рассматривается образование партий, представительство партий в Рейхстаге и Рейхсрате, партийная принадлежность президента. Согласно статьям 20 и 21 депутаты Рейхстага избираются народом и являются представителями всего народа, согласно статьям 60, 61 Рейхсрат состоит из представителей немецких земель, согласно статье 41 президент избирается всем народом. – *Прим.пер.*

<sup>2</sup> В недавно вышедшей интересной и остроумной книге Уиндэма Льюиса (*Lewis W. The art of being ruled. London: Chatto and Windus, 1926*), несомненно заслуживающей внимания (несмотря на все литературные и идейные виляния), автор объясняет этот переход от интеллектуального к аффективному и чувственному тем, что при современной демократии мужской тип отступает на задний план и наступает всеобщая феминизация.

<sup>3</sup> Однако именно здесь следует согласиться с Робертом Михельсом, в Предисловии ко второму изданию «Социологии партий» (*Michels R. Soziologies des Parteiwesens, 2. Aufl. S. XVIII*) заметившим, что «в области как теоретической, так и, прежде всего, прикладной психологии психологии масс ... немецкая наука отстала от французской, итальянской, американской и английской на несколько десятилетий, как в том, что касается ее результатов, так и в том, насколько она вообще представляет интерес». К этому надо лишь добавить, что столь удивительно богатая материалом и идеями книга, как книга Роберта Михельса, все-таки способна, пожалуй, компенсировать десяток лет отставания.

свою знаменитую фразу: «La plus mauvaise des Chambres est encore préférable à la meilleure des Antichambres»<sup>4</sup>. Парламент в наши дни сам кажется скорее огромной прихожей перед кабинетами или комитетами незримых властителей. Сатирой могут сегодня показаться слова Бентама: «В парламенте встречаются идеи, их соприкосновение высекает искры и приводит к очевидности». Кто еще помнит о том времени, когда Прево-Парадоль усматривал ценность парламентаризма (в противоположность режиму личной власти Наполеона III) в том, что при каждом выдвигании реальной власти на передний план тут же вынужден появляться именно тот, кому эта власть реально принадлежит, и потому правительство, «чудесным образом» сочетая бытие и видимость, всегда означает наисильнейшую власть? Кто еще верит в такого рода публичность? А кто – в парламент, как большую «трибуну»? Итак, основания для доказательств Берка, Бентама, Гизо и Дж. С. Милля в наши дни устарели. Видимо, уже «покрылись плесенью» и те дефиниции парламентаризма, которые до сих пор можно найти в многочисленных англо-саксонских и французских трудах, кажется, мало известных в Германии, дефиниции, в которых парламентаризм оказывается по существу «government by discussion»<sup>5</sup>. Отлично. Если же кто-то все еще верит в парламентаризм, он должен привести новые аргументы. Ссылка на Фридриха Наумана, Гуго Прейса и Макса Вебера уже недостаточно. При всем уважении к этим мужам, сегодня больше никто не разделяет их надежды на то, что парламентом как таковым гарантировано образование политической элиты. Такие убеждения поколеблены сегодня действительным положением дел, а в качестве идеальной веры они могут существовать лишь постольку, поскольку соединяются с верой в дискуссию и публичность. Все оправдания парламентаризма, какие приводились в последние десятилетия, сводились, в конечном счете, к тому, что парламент в наши дни хорошо или хотя бы сносно функционирует в качестве полезного и даже необходимого инструмента социальной и политической техники. И это – подтвердим еще раз – вполне приемлемый способ рассмотрения. Но надо же интересоваться и более глубокими обоснованиями, тем, что Монтескье называл принципом государства или правления, убеждениями, которые неразрывно связаны с этим великим институтом, верой в парламент, которая когда-то действительно была, но которой сегодня уже нет. В истории политических идей бывают эпохи великих порывов и времена штиля – безыдейного *status quo*. Так, эпохе монархии приходит конец, когда утрачивается чувство монархического принципа, чувство чести, когда появляются короли-буржуа, которые пытаются доказать свою нужность и полезность, а не священное достоинство (*Weihe*) и не честь. Внешний аппарат монархических установлений может сохраняться еще долго. Но час монархии уже пробил. Убеждения, которые неразрывно связаны именно с этим и никаким иным институтом, кажутся уже устаревшими. Нет недостатка в практических оправданиях, но вопрос о том, появляются ли люди или организации, которые в действительности оказываются столь же или даже более необходимыми, чем короли, и одним этим простым фактом устраняют монархию, – это уже вопрос о конкретных обстоятельствах происходящего. Подобным же образом обстоит дело и с «социально-техническими» оправданиями парламента. Если парламент из института с очевидной истиной превращается в некое всего лишь практико-техническое средство, то достаточно будет показать *via facti*<sup>6</sup>, что дела могут идти и по-другому (не обязательно даже вводя открытую диктатуру), и с парламентом будет покончено.

\* \* \*

Вера в парламентаризм, в *government by discussion*, неразрывно связана с миром идей либерализма. Но столь же неразрывной связи с демократией у нее нет. Либерализм и демократию следует отделить одно от другого, чтобы увидеть, каким гетерогенным образованием является современная массовая демократия. Всякая подлинная демократия

<sup>4</sup> Самая худшая Палата все же более предпочтительна, чем самая лучшая прихожая (*фр.*). – *Прим. пер.*

<sup>5</sup> Правление посредством дискуссии (*англ.*). – *Прим. пер.*

<sup>6</sup> На фактах (*лат.*) – *Прим. пер.*

основана на том, что не только с равными обращаются равно, но и с неравными неравно. Демократия, таким образом, требует, во-первых, гомогенности, а во-вторых, в случае необходимости, исключения или уничтожения гетерогенного. Чтобы проиллюстрировать это положение, напомним сразу о двух примерах современной демократии: о нынешней Турции, осуществляющей радикальное выселение греков и непримиримое отуречивание страны, а также об Австралии, посредством иммиграционного законодательства оберегающей себя от въезда нежелательных лиц и, подобно прочим доминионам, допускающей лишь таких иммигрантов, которые соответствуют «*right type of settler*»<sup>\*</sup>. Политическая сила демократии обнаруживается в том, что она умеет устранить то, что угрожает гомогенности или оградить себя от него. Вопрос о равенстве – не вопрос об абстрактных логико-арифметических упражнениях, а о субстанции равенства. Обнаружить ее можно в определенных физических и моральных качествах, например, в добропорядочности (Tüchtigkeit) гражданина, в *arete*<sup>\*\*</sup>, классической демократии *virtus (vertu)*. В классической демократии английских сектантов XVII в. она основывается на согласии религиозных убеждений. Начиная с XIX в. она заключается прежде всего в принадлежности к определенной нации, национальной гомогенности<sup>7</sup>. Но равенство представляет политический интерес и ценность лишь постольку, поскольку у него есть субстанция, а потому, по меньшей мере не исключаются возможность и риск неравенства. Вероятно найдутся несколько примеров такого идиллического состояния, при котором политическое сообщество (Gemeinwesen) во всех отношениях самодостаточно, при этом каждый из его членов обладает счастливой автаркией и столь подобен каждому другому в физическом, психическом, моральном и экономическом отношениях, что гомогенность наличествует без гетерогенности, как это могло быть в течение некоторого времени в примитивных крестьянских демократиях или государствах колонистов. Но в общем следует сказать, что демократия – поскольку с равенством всегда связано также и неравенство – может исключать часть подвластного государству населения, не переставая быть демократией, и что в целом до сих пор с демократией всегда было связано даже рабство либо существование людей (будь то варвары, дикари, атеисты, аристократы или контрреволюционеры), которые в той или иной форме, совершенно или частично были лишены прав или доступа к исполнению политической власти. Ни в афинской городской демократии, ни в английской мировой империи нет политического равноправия у всех тех, кто живет на территории государства. Из четырехсот миллионов человек, населяющих английскую мировую империю, более трехсот миллионов не являются английскими гражданами. Когда речь заходит об английской демократии, об английском «всеобщем» избирательном праве и «всеобщей» свободе слова, эти сотни миллионов игнорируются столь же очевидным образом, как рабы в демократии афинской. Современный империализм выработал бесчисленные новые формы господства, отвечающие уровню хозяйственного и технического развития, которые получают распространение в той же мере, в какой развивается демократия в метрополии. Колонии, протектораты, мандаты, договоры о вмешательстве и подобного же рода формы зависимости позволяют демократии сегодня осуществлять господство над гетерогенным населением, не превращая его в граждан государства, делать их зависимыми от демократического государства, и в то же время держать от этого государства на расстоянии. В этом и состоит политический и государствоведческий смысл прекрасной формулы: колонии, с точки зрения государственного права, суть заграница, а с точки зрения международного права, – территория страны. «Повсеместное словоупотребление», то есть принятое в мировой англосаксонской прессе, которое покорно перенимает Р. Тома и которое он даже признает

\* Правильному типу поселенца (англ.) – Прим. пер.

\*\* arete (греч., латинский аналог -- virtus) -- доблесть и благородство, благородная доблесть. – Прим. пер.

<sup>7</sup> Политическая субстанция, без которой нет демократии, не может быть, видимо, сугубо экономической. Из экономического равенства еще не следует политической гомогенности; в негативном же смысле большое экономическое неравенство может, видимо, упразднить существующую гомогенность и представлять для нее угрозу.

основополагающим для формулировки дефиниций в области теории государства, оставляет все это без внимания. Тут получается, что всякое государство, где всеобщее и равное избирательное право сделалось «фундаментом целого», – демократия. Но разве английская мировая империя покоится на всеобщем и равном избирательном праве всех своих жителей? На таком фундаменте она не просуществовала бы и неделю, цветные подавляющим большинством победили бы в голосовании белых. Тем не менее, английская мировая империя – демократия. Сходным образом обстоит дело с Францией и другими державами.

Всеобщее и равное избирательное право разумным образом оказывается лишь следствием субстанциального равенства внутри определенного круга и не выходит за пределы этого круга. Такое равное право имеет смысл лишь там, где есть гомогенность. Но всеобщность избирательного права, которую подразумевает «повсеместное словоупотребление», – совсем иного рода: каждый взрослый человек, просто как человек, должен *eo ipso* иметь равные политические права с другим человеком. Эта идея – либеральная, а не демократическая, она ставит демократию человечности на место до сих пор существовавшей демократии, покоившейся на представлении о субстанциальном равенстве и гомогенности. В наши дни на Земле такая демократия человечности отнюдь не является господствующей. Не говоря уже о прочем, она не является таковой прежде всего потому, что Земля поделена на государства, по большей части национально гомогенные государства, которые внутри себя на основе национальной гомогенности пытаются осуществить демократию, но в остальном отнюдь не считают каждого человека равноправным гражданином<sup>8</sup>. Даже самое демократическое государство, такое, например, как Соединенные Штаты Америки, очень далеко от того, чтобы допускать чужаков к своей власти и к своему богатству. До сих пор еще не существовало демократии, которой бы не было знакомо понятие чужака и которая бы на деле осуществила равенство всех людей. Но если бы демократию человечности захотели принять всерьез и действительно политически уравнивать каждого человека с каждым другим, это было бы равенство, которому причастен каждый исключительно в силу рождения или возраста. Тем самым у равенства была бы отнята его ценность и субстанция, потому что его тогда лишили бы специфического смысла, который у него есть, как равенства **политического**, равенства **экономического** и т.д., короче говоря, равенства, относящегося к определенной области. Ведь у каждой области есть свое специфическое равенство и неравенство. Сколь бы ни было несправедливым (*Unrecht*) пренебрежение человеческим достоинством, однако безответственной (ведущей к худшей бесформенности и потому еще более скверной несправедливости) глупостью было бы не замечать специфические особенности различных областей. В сфере политического люди противостоят один другому не абстрактно – как люди, но как **политически** заинтересованные и **политически** детерминированные, как граждане государства, правящие или управляемые, политические союзники или противники, то есть, во всяком случае, – в политических категориях. В сфере политического нельзя абстрагироваться от политического и оставить одно общее человеческое равенство – точно так же, как в сфере экономического люди понимаются не как люди вообще, но как производители, потребители и т.д., то есть в специфических экономических категориях. Абсолютное человеческое равенство было бы таким равенством, которое понимается, исходя из него самого, без риска, равенством без необходимого коррелята в виде неравенства, а потому – понятийно и практически ничего не говорящее, безразличное равенство. Сейчас, правда, нигде такого абсолютного равенства нет, покуда (как сказано выше) на Земле разные государства политически отличают своих граждан от других людей и умеют оградить себя в силу каких-либо причин от нежелательного населения, соединяя его международно-правовую зависимость [от данного государства] с государственно-правовой чужеродностью. Напротив, по крайней мере **внутри**

<sup>8</sup> По крайней мере, в этом отношении имеется плюрализм, а тот социальный плюрализм, в котором, по прогнозам М. Ю. Бонна (см.: Bonn M. J. Die Krisis der europäischen Demokratie, 1925), растворится современная якобы общечеловеческая демократия, давно уже существовал, и всегда существовал в другой, более эффективной форме.

различных современных демократических государств, видимо, реализуется всеобщее человеческое равенство, правда, не абсолютное равенство всех людей (потому что, разумеется, чужаки, неграждане государства из него исключаются), но все-таки – равенство в кругу граждан, относительно широкое равенство людей. Следует, однако, принять во внимание, что тем сильнее в этом случае акцентируется национальная гомогенность и снова, посредством решительного исключения всех, не относящихся к государству, остающихся вне государства людей, отрицается всеобщее человеческое равенство. Где этого нет, где государство хотело бы в политической области осуществить на деле всеобщее равенство людей без оглядки на национальные или иные виды гомогенности, там оно должно было бы столкнуться с вытекающим следствием: в той же мере, в какой государство приближает политическое равенство к абсолютному равенству людей, оно лишает его всякой ценности. Да и не только это. Ведь и сама эта область – то есть политика – была бы в той же степени обесценена и стала бы чем-то безразличным. Не только политическое равенство лишилось бы субстанции и перестало бы иметь ценность для равных индивидов, но и политика утратила бы свою сущность в той же мере, в какой к этому бессущностному равенству стали бы в ее области относиться всерьез. Безразличие касается также и тех дел, которые рассматриваются методами лишенного субстанции равенства. Ведь субстанциальные неравенства отнюдь не исчезли бы при этом ни из мира, ни из государства, они бы только отступили в другую область, перейдя, например, из политического в экономическое, и тогда именно этой области они бы придали новое, несоразмерно большее, преобладающее значение. Тогда уже, при установлении мнимого равенства в политической области, другая область, в которой осуществляются субстанциальные неравенства, стала бы господствовать над политикой. Это совершенно неизбежно, и, с точки зрения теории государства в этом и состоит истинная причина господства экономического над государством и политикой, которое сегодня вызывает столь значительное недовольство. Там, где равенство, мыслимое как безразличное (так что с ним не коррелирует никакое неравенство) действительно объемлет некую область человеческой жизни, сама эта область тоже утрачивает субстанцию и уходит в тень другой области, где неравенства дают о себе знать во всей своей неукротимой силе.

Равенство всех людей как людей – это не демократия, а либерализм определенного рода, не форма государства, но индивидуалистически-гуманитарная мораль и мировоззрение<sup>9</sup>. Современная массовая демократия основывается на плохо проясненной связи того и другого. Сколько ни занимались идеями Руссо, хоть и поняли, что он стоит у истоков современной демократии, а все-таки, кажется, не заметили, что конструкция государства в «*Contrat social*»<sup>\*</sup> непоследовательным образом связывает два этих элемента. Фасад либеральный: государство правомочно потому, что основывается на свободном договоре. Однако в дальнейшем изложении, при разворачивании важнейшего понятия *volonté générale*<sup>\*\*</sup>, обнаруживается, что подлинное государство, согласно Руссо, существует только там, где народ столь гомогенен, что по главным вопросам у него господствует полное единодушие. Согласно «*Contrat social*», в государстве не может быть партий, никаких особых интересов, никаких религиозных различий, ничего, что разделяет людей, даже финансовой системы. Философ современной демократии, почитаемый такими уважаемыми национал-экономами как Альфред Вебер<sup>10</sup> или Карл Бринкман<sup>11</sup>, вполне серьезно заявляет:

<sup>9</sup> Это различие хорошо проведено в заслуживающей внимания статье Вернера Беккера (Becker) в журнале «Schildgenossen» (сентябрь 1925) Работа основана на отличном докладе, который автор сделал у меня на политическом семинаре в летнем семестре 1925 г. В статье Х. Хефеле (Hefe) в ноябрьском номере журнала «Hochland» также акцентируется противоположность либерализма и демократии. Но я, в отличие от них обоих, придерживаюсь определения демократии как тождества управляющих и управляемых.

<sup>\*</sup> Общественный договор (фр.). – Прим. пер.

<sup>\*\*</sup> Общая воля (фр.). – Прим. пер.

<sup>10</sup> См.: Weber A. Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa. Stuttgart 1925.

<sup>11</sup> См.: Brinkmann C. в: Archiv für Sozialwissenschaften, August 1925. Bd. 54, S.533.



финансы – это нечто рабское, *mot d'esclave* \* (Кн. III, гл. 15, абзац 2\*\*), причем следует иметь в виду, что для Руссо слово «раб» имеет всю ту многозначительность, какая подобает ему в конструкции демократического государства: так называют того, кто не принадлежит к народу, неравного, не-citoyen'a\*\*\*, которому нет проку от того, что *in abstracto* он – «человек», гетерогенного (то есть не участвующего в общей гомогенности), и потому по праву исключается из нее. Согласно Руссо, единодушие [граждан] должно быть таким, чтобы законы принимались *sans discussion*\*\*\*\*. Даже судья и тяжущаяся сторона (Partei) должны желать одного и того же (Кн. II, гл. IV, абзац 7\*\*\*\*\*), причем тут даже не задается вопрос, какая именно из сторон, истец или ответчик, желает одного и того же, [что и судья]\*\*\*\*\*; короче говоря, в гомогенности, доходящей до тождества, все само собой разумеется. Но если единодушие и согласие всех волею со всеми действительно столь велико, то зачем тогда еще заключать или хотя бы конструировать договор? Ведь договор предполагает различие и противоположность. Единодушие, как и *volonté générale* либо наличествует, либо нет, при том, как верно заметил Альфред Вебер, наличествует **естественным образом**. Где оно есть, там, в силу его естественности, договор бессмыслен, где его нет, договор бесполезен. Мысль о свободном договоре всех со всеми приходит из совершенно иного мира идей, предполагающего противоположные интересы, различия и эгоизм, из мира идей либерализма. *Volonté générale*, как ее конструирует Руссо, на самом деле – гомогенность. Это действительно последовательная демократия. Таким образом, согласно *Contrat social*, государство, несмотря на заголовок этой работы и вводную конструкцию договора, основано не на договоре, а, по существу, на гомогенности. Результатом является демократическое тождество правящих и управляемых. Теория государства в *Contrat social* тоже содержит доказательство того, что демократию правильно определять как тождество управляющих и управляемых. Я предложил эту дефиницию в работе «Политическая теология» и в сочинении о парламентаризме, и как только на нее обратили внимание, одни ее отвергли, другие переняли. Поэтому я только хотел бы напомнить еще и о том, что, хотя применительно к современным теориям государства и целому ряду тождеств эта дефиниция нова, в остальном она соответствует старой, можно сказать, классической, а потому, пожалуй, уже и неизвестной традиции. Прочитаем Пуфендорфа, который указывает на интересные, особенно актуальные в наши дни выводы, проистекающие [из этой дефиниции] для теории государства и права. В сочинении *De jure Naturae et Gentium, 1672, Кн. VII, гл. VI, § 8* Пуфендорф пишет, что при демократии, когда тот, кто повелевает, и тот, кто повинует, суть одно и то же, суверен, то есть собрание, состоящее из всех граждан, может произвольно менять законы и конституцию; при монархии и аристократии, *ubi alii sunt qui imperant, alii quibus imperatur*\*\*\*\*\*, возможен, по мнению Пуфендорфа, двусторонний договор и ограничение государственной власти.

\* \* \*

В наши дни популярностью пользуется представление, согласно которому парламентаризм занимает срединное положение между большевизмом и фашизмом и подвергается угрозе с обеих сторон. Вот такая простая, но поверхностная группировка.

\* Рабское слово (фр.). – Прим.пер.

\*\* См.: Руссо Ж. Ж. Об Общественном договоре. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 1998. С. 280. – Прим. пер

\*\*\* Негражданина (фр.). – Прим. пер.

\*\*\*\* Без дискуссии (фр.). – Прим.пер.

\*\*\*\*\* Руссо Ж. Ж. Об Общественном договоре. Цит. соч. С. 222. – Прим. пер.

\*\*\*\*\* Заметим, что в этом месте Шмитт грубо искажает мысль Руссо. Общий интерес, говорит Руссо, объединяет голосующих, «что придает решению по делам, касающимся всех, черты равенства, которое тотчас же исчезает при разбирательстве любого частного дела ввиду отсутствия здесь того общего интереса», который объединил и отождествил бы правила судьи с правилами тяжущейся стороны» (Руссо Ж. Ж. Цит. Соч. С. 222). – Прим. пер.

\*\*\*\*\* Где одни повелевают, а другие повинуются (лат.). – Прим.пер.

Трудности парламентского предприятия и парламентских учреждений проистекают на самом деле из состояния современной массовой демократии. Прежде всего оно приводит к кризису самой демократии, потому что посредством всеобщего равенства людей нельзя решить неизбежную для демократии проблему субстанциального равенства и гомогенности. Оно приводит, далее, к кризису парламентаризма, который, видимо, следует отличать от кризиса демократии. В наши дни оба кризиса проявились одновременно и взаимно усиливаются, но понятийно и фактически между ними следует проводить различие. Современная массовая демократия, как демократия, стремится осуществить на деле тождество правящих и управляемых и сталкивается на этом пути с парламентом как более непонятным, устаревшим институтом. Если относиться к демократическому тождеству всерьез, то именно в серьезном, [чрезвычайном] случае никакое иное конституционное учреждение не может устоять перед каким бы то ни было образом выраженной, задающей любые мерки, не терпящей противоречия волей народа. И наоборот – нет самостоятельного оправдания существованию такого института, который основан на дискуссии независимых депутатов, тем более, что вера в дискуссию имеет не демократическое, а либеральное происхождение. На сегодняшний день можно выделить три вида кризиса: **кризис демократии** (о нем говорит М. Ю. Бонн, однако он не уделяет внимания противоположности либерального равенства людей и демократической гомогенности); **кризис современного государства** (Альфред Вебер) и, наконец, **кризис парламентаризма**. Кризис парламентаризма, который мы здесь обсуждаем, связан с тем, что демократия и либерализм некоторое время, пожалуй, могут быть соединены между собой (как соединились социализм и демократия), однако эта либерал-демократия, как только приходит к власти, так же вынуждена различать свои элементы, как и социал-демократия. Последняя впрочем, является на самом деле социал-либерал-демократией, поскольку современная массовая демократия содержит элементы по сути своей либеральные. При демократии есть только равенство равных и воля тех, кто принадлежит к равным. Все остальные институты превращаются в лишённые сущности социально-технические вспомогательные средства, неспособные противопоставить каким-либо образом выраженной воле народа некую собственную ценность и собственный принцип. Кризис современного государства связан с тем, что демократия масс, демократия людей [как таковых] не может осуществить на деле никакой государственной формы, в том числе и демократического государства. Большевизм и фашизм, напротив, как и всякая диктатура, антилиберальны, но отнюдь не антидемократичны. В истории демократии было много диктатур, цезаризмов и других примеров того, какими непривычными методами можно придать форму воле народа и создать гомогенность. А согласно недемократическим (возникшим в XIX в. из смешения с либеральными принципами) представлениям, народ может выразить свою волю лишь следующим образом: каждый отдельный гражданин отдает свой голос в глубочайшей тайне и совершенно изолированно, то есть не покидая сферы приватности и безответственности, «с применением защитных приспособлений» и «при отсутствии слежки за ним», как предписывает немецкая имперская регуляция голосований (*deutsche Reichsstimmordnung*), а затем каждый отдельный голос регистрируется и высчитывается арифметическое большинство. Благодаря этому предаются забвению и остаются словно бы неизвестными современному учению о государстве элементарные истины. Народ есть понятие **публичного права**. Народ существует лишь в сфере **публичности** (*Öffentlichkeit*). Единодушное мнение ста миллионов человек как частных лиц не есть ни воля народа, ни общественное мнение (*öffentliche Meinung*). Воля народа точно так же и даже лучше может быть выражена возгласами, *acclamatio*<sup>\*</sup>, с очевидностью не встречающего противоречий существования, чем статистическим аппаратом, который вот уже полвека разрабатывается с таким мелочным тщанием. Чем сильнее демократическое чувство, тем яснее, что демократия есть нечто иное, нежели система регистрации отданных в тайне голосов. Перед лицом (не только в техническом, но и в витальном смысле) **непосредственной** демократии, парламент,

\* Публичное одобрение или неодобрение, выражаемое выкриками (*лат.*). – *Прим. пер.*

возникший из либеральных размышлений, кажется искусственным механизмом, тогда как диктаторские и цезаристские методы не только могут поддерживаться *acclamatio* народа, но и быть непосредственным выражением демократической субстанции и силы. Даже если подавить большевизм и удержать фашизм на дистанции, кризис парламентаризма отнюдь не будет преодолен. Ведь он – не следствие появления этих своих противников, он наступил прежде них и продлится дольше, даже если они исчезнут. Его истоки – в последствиях современной массовой демократии, а в конечном счете, – в противоположности между либеральным индивидуализмом, основанном на моральном пафосе, и демократическим чувством государства, охваченным политическими, по своей сути, идеалами. Понимание этой противоположности [либерализма и демократии] на целый век было задержано тем, что исторически они были связаны между собой и сообща боролись против княжеского абсолютизма. Но в наши дни она разворачивается все сильнее и становится все заметнее, воспрепятствовать этому уже не может «повсеместное словоупотребление». В глубине своей эта противоположность либерального индивидуального сознания и демократической гомогенности непреодолима.

*Перевод с немецкого А. Ф. Филиппова*